

ЛЕГКО ЛИ ПРОЙТИ ТАКОЕ ИСПЫТАНИЕ?

Свой ответ на статью С.Н. Бройтмана «Испытание Бахтиным»¹ С.Н. Зенкин заканчивает сожалением по поводу того, что на его реплику ответить уже некому. Беру на себя смелость попытаться заменить в этом отношении его оппонента.

Прежде всего, о тех замечаниях, с которых С.Н. Зенкин начинает. Статья С.Н. Бройтмана и в самом деле написана запальчиво. Это нельзя не признать. И, вероятно, она бы только выиграла, если бы была чуть сдержаннее. Обратим, однако, внимание на то, что сам С.Н. Зенкин тут же объясняет болезнью С.Н. Бройтмана не только тон, но и содержание его возражений на свою публикацию: «Недуг – дурной советчик... покойный ученый усмотрел много таких интенций, о которых я не помышлял». Вряд ли можно счесть такую реакцию на критику поучительным примером должной сдержанности. Скорее, у нас есть основания расценивать использованный С.Н. Зенкиным полемический прием как что-то вроде удара ниже пояса.

Назвав статью своего оппонента «несправедливой», С.Н. Зенкин все же отнесся к содержанию высказанных в свой адрес критических суждений достаточно серьезно. Об этом свидетельствует, во-первых, то, что основная часть ответа на статью С.Н. Бройтмана посвящена обсуждению «серьезного научного разногласия, проявившегося в толковании одной важной идеи Бахтина». Во-вторых, в еще большей степени говорит об этом другой факт. Главный вопрос, обсуждавшийся как в критике С.Н. Зенкиным «Бахтинского тезауруса», так и в ответе покойного ученого на эту критику – о содержании и области применения термина «внежизненная ак-

тивность» – из теперешних ответных (в свою очередь) замечаний С.Н. Зенкина совершенно выпал.

Правда, в конце своего текста оппонент С.Н. Бройтмана высказывается в том смысле, что обсуждение других «конкретных возражений против его критики» «не представляло бы общественного интереса». Воля ваша, но без основательной аргументации трудно согласиться с тем, что вопрос о «молчании первичного автора» представляет больший общественный интерес, чем вопрос о «внежизненно активной» позиции этого самого автора. Не говоря уже о том, что два упомянутых вопроса самым прямым и непосредственным образом связаны друг с другом: это вполне очевидно всем, кто дал себе труд всерьез изучать тексты и идеи М.М. Бахтина. Наконец, можно бы (и было бы естественно) ответить на «конкретные возражения» С.Н. Бройтмана и по этому поводу. И даже в первую очередь: хотя бы потому, что тот, кому адресован ответ, именно пункт о «внежизненной активности» считал наиболее важным. И как раз в этом случае привел наибольшее количество высказываний Бахтина, сравнивая различные контексты одного термина.

Несмотря на все названные обстоятельства, именно в упомянутом втором случае С.Н. Зенкин сам оказался автором, «облеченным в молчание». И я склонен объяснять это убедительностью аргументов С.Н. Бройтмана. Обратимся, однако, к тому вопросу, на котором оппонент последнего предпочел сосредоточиться.

Первое утверждение С.Н. Зенкина заключается в том, что, говоря о невозможности для «первичного автора» «собственного слова», Бахтин имеет в виду только писателя-художника, тогда как С.Н. Бройтман считал иначе. Согласно его толкованию, у Бахтина речь идет о любом авторе-творце, поскольку ученый ссылается на непреложную необходимость «освятить» авторское «слово» «чем-то высшим и безличным (научными аргументами, экспериментом, объективными данными, вдохновением, наити-

ем, властью и т. п.». Ведь если автор-художник (поэт, например) нуждается в опоре на такое «высшее и безличное», как вдохновение, то автор-ученый – на научные аргументы, объективные данные или эксперимент; автор-проповедник – на наитие, автор-политик – на власть и т. п. Различие же между автором-художником и, например, автором-ученым заключается в наличии героя (имеется в виду, например, тезис Бахтина, согласно которому художественное произведение как таковое представляет собою «тотальную реакцию автора на целое героя»).

Каковы контраргументы С.Н. Зенкина? Вопрос о герое в таком контексте он вообще не затрагивает. Комментируя известное рассуждение Бахтина в одной из черновых записей о *природе творящей и сотворенной*, он лишь попутно замечает, что «“образ героя” упомянут лишь для полноты картины, так как ниже о нем ничего не говорится». «Более тонким» и более важным для Бахтина, чем эта «очевидная оппозиция» автора и героя, С.Н. Зенкин считает «различие двух авторских инстанций – первичного и вторичного автора». Далее он утверждает, что эти «инстанции» «связаны между собой отношением эманации». Отсюда и иная, чем у С.Н. Бройтмана, трактовка бахтинских замечаний о вдохновении и других вариантах «высшего и безличного»: это, по С.Н. Зенкину, разные «“образы” вторичного автора, каковыми действительно могут быть фигуры ученого, религиозного деятеля, политика, – но только не писателя!». И далее: «атрибутом писателя было бы скорее “мастерство”, а как раз оно у Бахтина и не названо. Дело в том, что писатель – это не вторичный, а первичный автор, отчего его и нет среди “образов автора”».

Искренне надеюсь, что ни С.Н. Зенкин, ни кто-либо другой не обвинит меня в том, что упомянутые контраргументы изложены мною некорректно или что отдельные положения вырваны из контекста. Я стремился именно воспроизвести общую связующую их логику. И вот при взгляде на эту общую картину вынужден сказать, что она целиком принадлежит

творчеству комментатора Бахтина, но не самому этому ученому. Не вижу в этом ничего плохого, пока одно не выдается за другое.

Во-первых, герой в системе идей Бахтина вовсе не один из членов «очевидной оппозиции», а *необходимое условие творческого акта* именно в искусстве. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать работу «Автор и герой в эстетической деятельности». (Трудно понять, почему она не учитывается при обсуждении вопроса). Во-вторых, у Бахтина нигде не сказано, что «первичный» и «вторичный» авторы связаны «отношением эманации». И это вряд ли случайно (ни один из предметных указателей в опубликованных томах «Собрания сочинений» ученого не содержит этого термина). В тексте черновых записей, цитируемых С.Н. Зенкиным, сказано совсем другое: первичный автор – никем не сотворенный, но творящий; вторичный же сотворен первым, но – в отличие от героя (вот для чего он и нужен здесь!) – в качестве также творящего (*natura creata, quae creat*). Это означает как раз, что перед нами – не подлинный автор-творец, который, как отмечено Бахтиным тут же, «не может быть образом», а **образ автора**. В-третьих, этот образ, вопреки категорическим утверждениям С.Н. Зенкина, не только может быть, но и, как правило, бывает *именно писателем*. Бахтин говорит о характерном для романа «появлении образа автора в поле изображения». Правда, это сказано не в черновых записях, а в статье «Эпос и роман»². Но тем легче было бы учесть это высказывание – при желании.

И, наоборот, назвать «первичного» автора («демиурга», как выражается С.Н. Зенкин) *писателем* означает – спутать автора-творца с так называемым «биографическим автором». Далее: если автор-творец (он же «первичный автор») «облечен в молчание», то созданный им *образ автора* (он же «вторичный автор»), напротив, является *речевым субъектом*. Именно этот второй «автор» заменил, по Бахтину, «пророка, вождя, учителя», а также «судью, прокурора и адвоката». Это означает, что никакого «первичного авторского голоса» (выражение С.Н. Зенкина), с точки зрения

Бахтина, нет и быть не может, по каковой причине этот термин у него и отсутствует. Любое «слово» (высказывание), по крайней мере, в культуре Нового времени, по его мысли, – уже роль и иносказание.

Поэтому нет повода говорить ни о каком «склеивании» у Бахтина понятий «образ» и «слово» или о неразличимом переходе от одного из них к другому. Первичный автор *не является образом* (который всегда кем-то сотворен), *не будучи и словом*. Он лишь целенаправленно действующая творящая сила. Вторичный автор – образ, т. е. некое лицо, субъект. Он же и носитель слова, выступая в той или иной роли («публициста, моралиста, ученого и т. п.). Допускаю, что все это не сразу «ясно», но сказать, что проблема «не проработана» Бахтиным, – это, мне кажется, слишком уж поспешное и, действительно, недостаточно продуманное заявление.

Наконец, такого важного, по мнению С.Н. Зенкина, «атрибута писателя», как «мастерство», Бахтин не упоминает не только в цитируемом фрагменте, но и вообще нигде. Лишь единожды появляется близкое к этому выражение – «художник-мастер» (но не «мастерство»!). Так именуется автор-творец в роли «технического работника», которому противопоставлен «созерцатель», создатель «эстетического объекта» и участник «эстетического бытия»³. Мысль Бахтина о первостепенной значимости эстетического созерцания по сравнению с техническим аспектом творчества и в этом случае убеждает внимательного читателя в том, что ученый не рассматривает автора-творца в качестве всего лишь писателя-профессионала (да ведь и очевидно, что далеко не все люди этой профессии создают произведения искусства в точном смысле слова).

Ситуация с терминами «эманация» и «мастерство», на мой взгляд, чрезвычайно показательна. Она делает вполне очевидными одновременно две вещи: то, что, комментируя суждения Бахтина, С.Н. Зенкин встретился с принципиально **чужим** для него **научным языком**, и то, что этот факт капитальной важности им явно недостаточно осознан. Своеобразие этого

языка, С.Н. Зенкин, как видно, усматривает почти исключительно в отклонении от некой разумной нормы: в «непродуманности», «неотрефлектированности» и т. п. На самом деле приходится констатировать странный недостаток в данном случае у критика Бахтина собственной рефлексии.

Если бы не это, С.Н. Зенкин, как и любой другой квалифицированный филолог, принял бы необходимые меры для освоения чужого научного языка. А именно: выяснял бы значения составляющих его единиц (терминов), сравнивая разные случаи употребления каждого из них в тех или иных связях и соотношениях с другими терминами (т. е. в разных контекстах) и выявлял бы инварианты. Но как раз такой работой и занимаются участники проекта «Бахтинский тезаурус». И в полемической статье С.Н. Бройтмана именно таким способом выясняется содержание термина «внежизненная активность» (работа, которая, как мы уже отметили, почему-то не вызвала никакой вербализованной реакции у его оппонента).

Разумеется, С.Н. Зенкин вправе не заниматься специальным филологическим изучением научного языка Бахтина. Но, не имея в этой области никакого личного опыта, вряд ли стоило оспаривать продуктивность чужой работы такого рода (ср. в рецензии НЛЮ: «Строй мысли автора, который описывается в словаре, и строй мысли самого словаря оказываются в неразрешимом противоречии»⁴). И, тем более, – предлагать тем, кто это делает, свой «метод чтения Бахтина» в качестве образца более адекватного истолкования текстов ученого.

Чем же можно объяснить столь странное «авторское поведение» С.Н. Зенкина, если допустимо здесь использовать модный термин? Тексты Бахтина он не изучает, возможно, потому, что в определенной научной среде принято считать: что касается идей и терминологии Бахтина, то главное всем, по крайней мере, – всем посвященным, давно уже известно. И то, что именно об этом известно, к изучению не побуждает. Ведь Бахтин был ученым «неясно, какой специальности»; все, что он написал, – разнообразные

фрагменты, каждый из которых вполне автономен (поэтому-то и не сопоставляются разные суждения на одну и ту же тему). К тому же, он «не осмыслил специфику своего дискурса» (в рецензии, опубликованной в НЛЮ, о «специфике» сказано яснее: «в эстетике Бахтина понятия ориентированы не на практическое применение, а на апофатическое иносказание, намек на что-то такое, что невозможно выразить прямым именем»⁵).

И все это говорится об ученом, который поставил перед собою задачу построить *систематическую поэтику* на основе философской эстетики, специально разрабатывал *методологию* литературоведения (что и в самом деле всем известно), а также тщательно продумывал и переделывал не только тексты, но и *планы* своих исследований. Об ученом, который высказывался и о своеобразии собственной *терминологии* (о своей любви к синонимам) и предложил целый ряд понятий, использующихся весьма широко и зачастую достаточно эффективно!

То, что система идей, свойственная самому С.Н. Зенкину, к адекватному истолкованию текстов Бахтина не приводит, уже вполне очевидно. Расхождения его с С.Н. Бройтманом носят, в этой связи, действительно, не частный и отнюдь не случайный характер. Конечно, было бы куда интереснее и полезнее для читателей, если бы оппонент покойного ученого и сам изучал тексты Бахтина – любимыми, разумеется, методами, лишь бы достаточно полно и систематично. Но в таком случае он, наверное, иначе бы отнесся к самой задаче создания Бахтинского тезауруса, а может быть, заодно и к усилиям тех, кто пытается так или иначе решать эту задачу.

¹ Текст С.Н. Зенкина публикуется в настоящем издании. (*Примеч. ред.*)

² Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 470.

³ См.: Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 302–303.

⁴ Зенкин С.Н. Испытание тезаурусом (Заметки о теории, 10) // Новое литературное обозрение. 2005. № 72. С. 332.

⁵ Там же. С. 331.